

АМАНДА



## 1.

Беспорядок, обнаруженный утром, напоминает, что я больше не одна. Аманда вернулась, я смотрю по сторонам и всюду натыкаюсь на следы ее присутствия: на подлокотнике дивана тарелка с недоеденным куском хлеба, что-то недопитое в стакане. Скомканное одеяло в углу, рядом книга обложкой кверху, раскрытая все на той же странице.

В последнее время мой сон уже не такой чуткий, я почти не слышу, как она бродит по дому. Только иногда, повернувшись на бок в кровати, ощущаю, как вибрирует пол в моей комнате от ее запоздалых шагов.

Я не знаю, во сколько она проснется. Пью кофе, оставляю на столе печенье и чашку, уцелевшую с того времени, когда Аманда была подростком. Луч солнца падает на чашку, освещая жующую сено корову.

Я оставляю на плите пустой молочник, своего рода сообщение: погрей себе молока. Она сможет разбавить им оставшийся в кофеварке кофе или просто проигнорирует все это. Сможет оценить мою заботу или рассердится, что я нянчусь с ней как с маленькой.

Я никак не могу уследить за ее рабочим графиком, если это можно так назвать: мне кажется, она приходит и уходит всегда в разное время. Но вопросы на эту тему ее раздражают. Поэтому я стараюсь пересекаться с ней хотя бы за едой.

Проверяю, найдется ли в холодильнике что поесть посерьезнее, если она проспит завтрак. Яйца, сверкающие скорлупой, утешают меня. Она все такая же худая, моя дочь.

Убираю с ковра туфли и шлепанцы, заправляю диван. Стыдно, если кто-нибудь придет и застанет такой бардак. Телефон Аманды выключен, валяется под одеялом.

Можно идти. Пишу: «Я у бабушки». Оставляю записку возле вазы с желтыми тюльпанами. Рисую сердечко и тут же стираю.

## 2.

Мой отец живет на полпути из поселка в горы.

Этим утром он не в поле, сидит возле камина, недовольный. Когда он дома, время для него еле ползет: газета наскучивает с первой же полосы, а по телевизору одна болтовня.

— Ты должна поехать со мной кое-куда, — объявляет он.

Солнце такое яркое, что глазам больно. Отец никогда не носил солнцезащитных очков, жмурится каждый раз, когда очередной луч ослепляет его. Поворот за поворотом мы поднимаемся на его старой «Браве» все выше, у меня стреляет то в одном ухе, то в другом, гул мотора становится громче. Он сосредоточен на дороге: лицо передергивается на каждой выбоине в асфальте, нос заострился, губы крепко сжаты. В какой-то момент он, будто опомнившись, спрашивает об Аманде.

— Она спала, — отвечаю я, и мы снова молчим.

Перед нами гора. Свежая зелень ползет вверх по склону, окрашивает вековой буковый лес и то, что пастухи называют проплешинами, — места, где деревья больше не растут и простираются большие луга. За лугами еще зима.

Постепенно дорога становится более знакомой: сколько раз он ходил здесь пешком, когда дорога еще

была немощеной, а то и просто тропой. Теперь он проедет здесь хоть с закрытыми глазами. Отец смотрит в окно: он родился там, на этой полоске возделываемых полей, а через двадцать пять лет я тоже родилась там. В этой долине он был молодым, а я — ребенком. Потом мы переехали туда, где он живет сейчас. А здесь он занимался охотой и иногда браконьерством.

Давно мы не приезжали в горы вместе, даже и не счесть, сколько лет прошло. Отец чуть приоткрывает окно, глубоко дышит. Забывает об эмфиземе, аортальном стенозе, его впалые бледные щеки слегка зарумянились. Ему всегда не хватало воздуха, который он оставил здесь.

Мы добрались, куда он хотел, припарковались на обочине дороги.

«Домик Шерифы» все еще на месте, хотя самой ее уже нет. Я помню, как я сидела здесь среди туристов, за уличным столиком, в дыму от жарки арростичини\*. Как помогала накрывать на столы, когда просили.

Едва распустившиеся листья буков почти касаются крыши.

---

\* Арростичини (итал. arrosticini) — шашлык из баранины, типичное блюдо для региона Абруццо; считается, что его придумали пастухи. Они использовали подручные средства: в качестве гриля — обломок водосточной трубы с углями, а кусочки баранины попеременно с кусочками сала нанизывали на деревянные шпательки. — *Здесь и далее прим. ред., если не указано иное.*

— Этот кусок леса по-прежнему наш, имей в виду на будущее, — говорит отец, указывая на родовое имение своей семьи.

«На будущее» — это когда его не станет. Он объясняет, что я смогу обратиться в лесное хозяйство и рубить дрова на зиму. Он знает, что я не стану никуда обращаться и что в моем доме никогда не было открытого огня.

— Ты привез меня сюда, чтобы бросить в лесу? — шучу я.

— Мало же ты видишь.

Отец переходит улицу, сворачивает на подъездную дорожку, заросшую травой. Я неохотно следую за его болезненными шагами, я знаю, что там.

Вывеску кемпинга я помнила другой: с тех пор она потеряла несколько букв, а М повисла вверх ногами и превратилась в W. Ветка ежевики оплела запертые на подвесной замок ворота, я и не знала, что у отца есть ключ. Он с силой толкает створки, металлические трубы вязнут в заросшем грунте, но в итоге поддаются, и отец направляется к обветшавшим, давно заброшенным кирпичным постройкам. Под навесом несколько умывальников для гостей, кое-где прошлись вандалы: например, двери туалетов сорваны. Мы идем вдоль длинной стороны бассейна, отец по-прежнему на несколько шагов впереди. На дне мусор, сломанные ветки, над ними возвышается деревце — оно выросло там невпопад, по ошибке. Площадки для палаток больше не видно: все заросло бурьяном.

— Ты мне объяснишь, зачем мы сюда приехали? Кто дал тебе ключ?

— Хотел показать тебе, насколько меньше стало это место.

Я пожимаю плечами: все, я посмотрела, можно ехать назад. Это место меня не интересует.

— Все это тоже станет твоим, — говорит отец.

Я так встревожилась, что аж горло перехватило.

— Быть того не может. Ты же продал этот участок.

Отец сознается, что долго пытался, но ничего не вышло.

Какое-то время я молчу под птичье хоровое пение. Его регулярно прерывает соло кукушки.

— После того, что случилось, никому он не был нужен, даже даром, — будто оправдывается отец.

— Вот и мне не нужен, это место меня пугает.

Я повысила голос, эхо возвращает последние слоги. Земля станет моей против моей воли, я единственная наследница.

— На днях сходим к нотариусу и оформим дарение.

Вот она, власть, которую отец до сих пор мне показывает: он принимает решения, которых я не могу изменить.

— Я не возьму эту землю, я уже научилась думать сама за себя.

Поворачиваюсь к отцу спиной, иду к машине. Я больше не слышу лесных трелей о любви. Все это апрельское возрождение больше меня не касается.



### 3.

Милан или ничего. Так говорила Аманда о своем будущем в последний год школы. Под «ничего» подразумевался поселок — остаться здесь. Милан виделся ей городом, где для нее начнется настоящая жизнь.

Она готовилась все лето. В разгар жаркого дня я обнаруживала ее в кровати: один карандаш воткнут в волосы и держит пучок, второй ставит крестики в тестах. На улицу она выходила мало и неохотно. Все, кто ей писал и звонил, как ей казалось, уже остались в прошлом. Мои предложения она даже не слушала: Рим слишком близко, а Болонья — провинция.

— Зачем тогда твои одноклассники туда едут?

— Им смелости не хватает, привыкли ото всего держаться на безопасном расстоянии.

Мы купили два чемодана в торговом центре — большой и маленький. Она выбирала самые качественные, хотя и говорила, что собирается возвращаться домой только на Рождество и Пасху.

— Ты будешь приезжать ко мне время от времени, тебе пойдет на пользу, — ответила она на молчаливый протест в моем взгляде.

В сентябре отец повез ее в Миланский государственный университет на вступительные экзамены. Перед тем как войти в аудиторию, Аманда позвонила

мне. В голосе звучала знакомая смесь страха и упорства.

Она вернулась с огнями города в глазах.

— Там чувствуешь себя в Европе, — сказала она.

Они остановились поужинать в Навильи. Как я поняла из короткого рассказа, ей это показалось чем-то вроде экскурсии. Она так и сияла после двух дней, проведенных с отцом.

— Настоящий шницель — это совсем не то, что ты готовишь, — объявила она, утешительно положив руку мне на плечо.

Когда она сообщила бабушке, что зачислена, тот открыл ей банковский счет на тысячу евро. «С каждой пенсии буду добавлять по пятьдесят или сто», — пообещал он.

Он никак не мог поверить, что она сможет снимать деньги прямо там, в такой дали. А еще ему казалось загадкой то, что она собиралась изучать: международные науки и европейские институты. Хотя он и слышал, с каким возмущением она комментировала новости по телевизору.

Мой отец гордился своей единственной внучкой, занявшей тридцать вторую строчку среди более четырех сотен абитуриентов. Впрочем, она всегда нас удивляла, с самого рождения. Помню, как мы недоумевали из-за ее цвета волос: почти рыжие, у нас в роду ни у кого таких не было.

Я тоже гордилась баллом Аманды за вступительные тесты. И скрывала от самой себя полунadeжду, что

она не сдаст. Где-то глубоко под землей, в норе таилась маленькая змея, мечтавшая удержать дочь при себе.

Я купила Аманде новые простыни и полотенца, пижамы и прочее необходимое, о чем молодые девушки и не вспомнят. За несколько дней я научила ее загружать стиральную машину, сушить темные вещи в тени. Ей предстояло познавать мир, который мне не довелось познать.

Я провожала ее на поезд, чемоданы были тяжелые.

— Хотя бы простыни можно было купить в Милане? — возмущалась она.

Но простыни ничего не весили по сравнению с банками соуса. Ей должно хватить на несколько месяцев: я специально приготовила по рецепту для долгого хранения. Все эти лишние, казалось бы, действия были необходимы, чтобы убедить себя в том, что она выживет без меня.

Лифт был сломан. Пока поднимались по слабо освещенной лестнице подъезда, обе вспотели. Открывшая дверь девушка смерила Аманду взглядом и указала на ее комнату.

— Потом зайдешь подпишешь договор, — сказала она.

Других соседок мы не встретили. Комната обставлена дешевой мебелью, по углам комки пыли. Аманду это, кажется, не смутило. Меня она долго задерживать не собиралась: я только помогла ей разложить вещи в шкафу.

— Зайду в туалет, — сказала я, прежде чем вызвать такси.

Я сидела на унитазе и разглядывала грязный кафель на полу. На самом деле грязи не было, просто плитка очень старая. В ванной клеенчатая шторка со слонами, на двери график уборки. Знак вопроса в таблице так и ждал, когда его сменит Аманда.

Миланское «Таксиблу» отвезло меня обратно на вокзал. Я крепко обняла Аманду на прощание. «Позвони, как доберешься», — сказала она, выскальзывая из объятий.

Впервые в жизни она просила об этом меня, а не я ее.

#### 4.

Полтора года спустя моя дочь села в один из последних поездов. Позднее выехать из Милана не вышло бы, как и из любого другого итальянского города. В новостях в прямом эфире люди бежали по эскалаторам, стекались на платформы. Я высматривала, не мелькнет ли среди них ее огненно-рыжая голова. Аманда тем временем говорила со мной по телефону. Может, в этот удастся сесть... Я представляла, как она пробирается сквозь толпу, такая крошечная, с чемоданом. Все возвращались на юг.

Поезд Аманды прибыл в десять вечера с двухчасовым опозданием. Казалось, ее сумки никогда не кончатся, парень из вагона подавал ей одну за другой. Он вышел выкурить полсигареты, прежде чем поезд повезет его дальше.

Я по привычке подошла к ней помочь, но Аманда жестом остановила меня: «Не надо, это может быть опасно».

В машине Аманда включила радио и откинулась на сиденье, голова покачивалась так, будто она спит. Она слишком устала, чтобы говорить; как минимум — чтобы говорить.

— Зачем ты тащила всю эту тяжесть? — спросила я. — Это же вопрос нескольких недель, чрезвычайную ситуацию отменяют, университеты снова откроются.

— Тебе откуда знать? Такое не предскажешь.

Она рассеянно посмотрела на ворота при въезде в поселок, их украшала статуя святого покровителя в нише.

Дома я включила духовку, хотела разогреть ей пасту, но Аманда выключила: «Завтра съем».

Она взяла рюкзак и пошла к себе в комнату, остальные вещи остались в гостиной. Больше я ее не слышала: из-за двери не доносилось ни звука.

Позже я открыла чемоданы и узнала цветные простыни, которые я ей покупала. Стоя с простыней в руках, я поймала себя на мысли, что в этом возвращении Аманды есть что-то мрачное и окончательное.

Утром я не хотела будить дочь: ей надо отдохнуть как следует после выматывающей поездки. Но она ведь не поела. И до этого весь день проходила голодная: перед поездом у нее не осталось времени даже бутерброд перехватить, а вагоны-рестораны сейчас не обслуживают.

Я стала считать часы, как когда-то, когда она была маленькой и не просыпалась вовремя на кормление. А потом была так голодна, что кусала меня за соски своими деснами с только прорезывавшимися зубами.

Растить Аманду было больно. Я не понимала ее, не понимала, что ей от меня нужно. Я боялась оставаться с ней одна. По ночам муж пристраивал ее к себе на плечо и носил по дому, предварительно закрыв дверь в спальню, чтобы дать мне отдохнуть.

В приемной педиатра другие матери понимали, что надо ребенку, по первому всхлипу. Моя дочь плакала, а я не знала почему. Грудь у меня полна молока, но Аманда иногда отрывалась и начинала кричать. «Видимо, ей не нравится мое молоко», — думала я. Я сцеживала каплю на палец, облизывала его. Может, то, что я считала сладким, казалось горьким ее маленькому язычку? Я до сих пор помню, как несильно, но встряхнула ее, держа на руках, чтобы она замолчала.

И вот двадцать лет спустя я снова волновалась, что Аманда не просыпается. Одиннадцать, двенадцать. Может, в Милане она снова перепутала день с ночью, как в детстве? Я стала шуметь, ходить по дому, греметь кастрюлями, двигать мебель. Но никто этого не заметил, кроме Рубины.

Рубина услышала меня со своего балкона этажом ниже и жестом позвала, мол, спускайся. Она сидела в шезлонге, задрав подол до бедер и засучив рукава.

Я устроилась рядом с ней под мартовским солнцем.

— Аманда вернулась.

Рубина спросила, как у нее дела, а я не знала.

— Устала, — ответила я. — Какое-то время придется ей поучиться здесь, дома.

Она кивнула, не открывая глаз. Вот только я не видела в чемоданах книг.

— Сейчас все отдохнем поневоле, замрем на время, — сказала Рубина, поворачивая руки менее загоревшей стороной к солнцу.

Она расстроилась, что занятия в хоре отменили.

— А мы только разошлись с цыганскими песнями на последних репетициях! — воскликнула она, бойко жестикулируя.

Мне не хотелось разговаривать, я просто коротала время, пока дочь не проснется, и то и дело украдкой поглядывала на часы.

— Пойду, — объявила я в половине второго.

Я вернулась домой, глаза, ослепленные солнцем, все еще плохо видели. Постучала в дверь Аманды, вошла в комнату. Она лежала под одеялом, уткнувшись головой в подушку.

Я отодвинула одеяло с ее лица, она посмотрела так, будто не сразу меня узнала.

— Я на карантине, отойди, — сказала она. — Поем в комнате.

— Давай лучше сядем за стол по разные стороны. Стол достаточно длинный.

На кухне Аманда недовольно плюхнулась на стул.

Я проветрила комнату, пока она мучила свою тарелку ньокки. Как только она доела, сразу ушла в свою комнату и закрыла дверь.

Той ночью под утро я проснулась от едва уловимого движения. На другой стороне кровати спиной ко мне лежала, свернувшись калачиком, Аманда. Не знаю, сколько времени я пролежала рядом, не двигаясь, — так меня это поразило. А потом она заплакала. Беззвучно,



только вздрагивала и шмыгала носом. Я обняла ее, обвила руками так легко, как только могла.

— Ни о чем меня не спрашивай, — сказала она.

Это последний раз, когда мы с дочерью были так близки. С той ночи прошло чуть больше года.

Те недели Аманда спала. Она днем, я ночью, сова и жаворонок. Мы жили в общем пространстве, но по очереди, время от времени сталкивались.

Около двенадцати меня накрывала идея фикс разбудить ее. Я долго упорно расхаживала с пылесосом по проходной комнате, примыкавшей к ее спальне, как будто именно там собралась пыль со всего дома. Я знала, что это бесполезно, но вдруг гул пылесоса на максимальной мощности подскажет ей во сне, что где-то там, за пределами ее комнаты, — весеннее солнце и жизнь.

— Все, вставай. Вставай, и точка, — завопила я однажды.

Аманда высунулась из-под одеяла и мутным взглядом посмотрела на меня.

— Ну встану, и что дальше?

Я выдала ей целый список: поесть, поучиться, прогуляться по кварталу или сделать зарядку.

Она ответила строго по пунктам.

— Я не голодна. У меня нет учебников. А зарядка нужна таким, как ты, женщинам в менопаузе.

В воздухе остался дурной запах, вырвавшийся из ее вечно закрытого рта. Я схватилась за край одеяла, одним рывком сдернула его, открыв свернувшееся тельце в пижаме с вишнями по две на ветке.

Она резко вскочила и с силой меня толкнула. Шкаф помог мне удержаться на ногах. Я не хотела падать.

— Только попробуй еще раз... — выговорила я, придерживаясь за дверцу вспотевшими ладонями.

Она села на кровать. Под лампой, горевшей целыми ночами, разметанные волосы всех оттенков тускло-рыжего.

— Помойся, от тебя плохо пахнет.

Никакой реакции. Какое-то время мы так и провели друг напротив друга: я стояла, она сидела. Ярость медленно остывала, щеки перестали гореть. Мы старались не стать врагами.

Ее телефон звонил где-то под кроватью. Я и раньше слышала, как он подолгу звонит. «Почему не отвечаешь?» — спрашивала я без слов. Звонки продолжались один за другим, потом пришло сообщение.

— Завтрак все еще ждет, обед тоже, — сказал я.

Было три часа дня.

Когда я услышала, как в ванной полилась вода, испытала облегчение, близкое к радости. Значит, она все-таки меня слушает. Есть еще щель, сквозь которую задует мой голос.

Я распахнула окно в ее комнате, свежий воздух ворвался в обитель беспорядка. Сунула руку под кровать, боясь того, что могу увидеть. Некий Лоренцо звонил много раз, и еще папа. Я толкнула телефон назад, туда, откуда взяла.

Из ванной по-прежнему доносились звуки потоков воды, затем их сменил фен — и я успокоилась еще

больше. Надо же, до чего я дошла: мать счастлива слышать, что дочь моется.

Она вышла благоухающая, пушистые волосы спадали на грудь, глаза, зеленые со светло-коричневыми прожилками, казалось, стали еще зеленее. На этот раз она не закрылась в комнате, она исчезла.

Я ответила ее отцу, пытаюсь вспомнить, когда он последний раз звонил мне.

— Что происходит? — спросил он.

Он волновался, несколько недель не мог ей позвонить.

— Мне откуда знать? Со мной она тоже не разговаривает, — ответила я. — Она вообще ни с кем не разговаривает.

— А чем занимается дома?

— Ничем.

— И ты не можешь ее расшевелить?

Я не могла и до сих пор не могу. Мог бы сам приехать попробовать, раз думает, что это так легко. Может, я воспользовалась бы случаем и в очередной раз задала ему пару вопросов, о которых он даже не помнит. А еще он мог бы забрать свои свитеры из шкафа. Они все еще там. Иногда я достаю их: боюсь, что моль заведется. Раскладываю на солнце, рассматриваю, нет ли дырок. Их нет, вот что значит качественная шерсть. Поэтому я складываю свитеры и убираю назад в шкаф, двумя стопками.

— Я сейчас не могу приехать, — сказал Дарио.

Тогда ничем не могу помочь.

Мой отец злится на меня, что я не занимаюсь документами для развода. «Ни ты, ни этот слабак», — ворчит он. Он прав, это бездействие нас связывает, как и кое-что, о чем мы ничего не знаем. Разумеется, я имею в виду Аманду.

Я каждый раз теряюсь, когда мне нужно как-то его назвать. «Муж» застревает в горле, «бывший муж» — не выговаривается, может, «отец моей дочери», даже не знаю.

Аманду я увидела с балкона. Рубина одной рукой расчесывала ее волосы, а другой подрезала их. Они были в саду, на солнце. «Мне совсем немножко, — просила ее Аманда, показывая пару сантиметров зазора между большим и указательным пальцем. — Только посекшиеся концы».

## 6.

Мой отец заказал мессу, как делает каждый год в мае, с тех пор как овдовел. За неделю до нужного дня он надевает очки и ищет в старой записной книжке телефон дона Артуро, наскоро записанный рукой моей матери бог знает сколько лет назад. Он назначает дату и начинает обзванивать близких родственников, номера которых помнит наизусть. Последней звонит мне.

На этот раз месса важнее обычного из-за провала в прошлом году. «Поминай ее в своем сердце», — попытался утешить его священник на расстоянии. Отец обиделся, он вспоминал ее каждый день и в чужих подсказках на этот счет не нуждался.

Мы обсуждали по телефону огород, спорили, сколько помидоров высаживать, хотя он и так уже решил, что их будет больше двухсот, как обычно. Это его вызов возрасту, болезням.

— И Аманду возьми с собой в церковь, — сказал он под конец разговора.

Одной этой фразой он перебросил меня из влажной земли, покрывающей корни и семена помидоров, в самую болезненную для меня точку мира.

— Посмотрим, вдруг она работает в четверг днем, — говорю я.

— Ты называешь это работой? — отвечает он. — Ничего, возьмет отгул ради бабушки.

Я угадала, Аманда выбирает именно эту отговорку: никто не сможет подменить ее в баре.

Она не хочет на мессу. Она не собирается показываться на глаза родственникам, до которых ей нет никакого дела. А единственного взгляда, который может ранить ее, — дедова — она избегает.

Я пытаюсь уговорить ее еще раз, перехватив на выходе из ванной. Именно там я обычно устраиваю засаду.

— Да ты же сама не веришь в эти мессы, — говорит она. На лице что-то среднее между состраданием и презрением.

Отец видит, что я выхожу из машины одна, но ничего не говорит. Он болтает со священником на бетонированной паперти. Это одна из немногих все еще действующих церквей в сельской местности. Церковь из бетона и кирпича семидесятых годов. Каждый раз я думаю о том, как она мне не нравится.

— Не знаю, что тебе посоветовать, дон Арту, я в этом ничего не понимаю.

Дон Артуро недавно начал выращивать трюфели на своем маленьком участке.

В церкви все сидят, соблюдая дистанцию, мы с отцом впереди. Время от времени он оборачивается посмотреть, кто пришел, а кто нет.

Я рассматриваю топорно написанные фрески над алтарем: две группы ангелов и сверкающий Бог в центре.

Мне не хватает запаха ладана, а еще мне не хватает моей мамы во время этой торжественной службы в память о ней. Может, она помогла бы мне с Амандой.

Моя мать умирала каждый день, месяц и год своей болезни. Ее умения исчезали одно за другим: готовить на двадцать человек, работающих в поле, повторять вышивки из «Волшебных ручек», улыбаться своей единственной внучке.

«Синьора, не хотите купить кролика?» — спрашивала она меня, когда мы уже ее потеряли.

Последним она покинула отца: перестала звать его. К тому моменту я уже давно не была для нее одним человеком. Я то и дело меняла роли: от синьоры, покупающей кролика, до воровки, стащившей деньги из ящика ее комода.

Сегодня она посмотрела бы на нас с нежностью: муж и дочь, такие одинокие на первой скамейке в церкви, каждый со своим страданием, запертым в груди. Она взяла бы нас за руки, утешила. Я пытаюсь представить себе тепло ее руки.

В проповеди дон Артуро упоминает о том, как трудолюбива была эта женщина, и о том, что она всегда была рядом с мужем. Не уверена, что мама в расцвете сил хотела, чтобы ее запомнили такой. «Неутомимая труженица», — повторяет пастор, немного переигрывая. Ему приятна эта обнадеживающая и половинчатая правда. Неужели он не знает, что маме пришлось заболеть, чтобы отдохнуть? Пока она была здорова, муж



не давал ей дух перевести: ему нужен был мужик в поле, женщина в доме — и за обоих работала она.

Месса кажется мне бесконечной, как в детстве. Я не участвую в молитвенном хоре, не крещусь, не беру облатку, не становлюсь на колени. Петь мне нельзя, к тому же церковные песнопения никогда мне не нравились. Голоса поющих еще могли восхищать, но возторженное благоговение текстов все равно смущало. Дон Артуро терпит мое отстраненное присутствие; может, он все еще надеется, что однажды его слово обратит меня в веру.

И все же я встаю и сажусь назад на скамейку одновременно с остальными. Как и все, протягиваю руку соседям, хотя приветствиями мира сейчас не обмениваются, ограничиваются взглядами. Я не сразу заметила сзади нашего старого семейного врача. Он тоже пришел помянуть маму. Я могла бы поговорить с ним об Аманде, но не знаю, что сказать о собственной дочери. Разве только, что ей все лень.

«Отче наш», — с облегчением выдыхаю я, скоро мы все пойдем с миром.

На улице мы прощаемся с родственниками и несколькими знакомыми из нашего района, не касаясь друг друга. Одна мамина подруга дожидается в стороне, пока все не разойдутся, и, не выдержав, обнимает меня. Они дружили с детства, вместе ходили в церковную школу, вместе учились вышивать. Потом она вышла замуж за парня из деревни, и ее жизнь сложилась попроще.

— А что Аманда, чем занимается? — спрашивает она с трепетной заботой, выдающей желание услышать о впечатляющих достижениях.

— Временно учится дома, — вру я. — Еще подработку нашла, поэтому не смогла прийти сегодня.

— Я помню ее на руках у твоей мамы, настоящая бабушкина радость.

Наконец на черной паперти остаемся мы с отцом вдвоем, дон Артуро закрывает церковь и догоняет нас. Мы собираемся дать ему по тридцать евро за мессу, так решил отец.

Он отдает дону Артуро банкноты, тот зажимает их в кулаке, как будто считает чем-то не совсем пристойным.

— Ты хорошо проповедовал для Кончетты, — говорит отец перед тем, как попрощаться.

Мы направляемся к машинам, и отец сообщает мне, что из-за мессы ему пришлось перенести запись к нотариусу на мой выходной. Я даже не успеваю разозлиться, потому что он не унимается.

— И реши уже, что́ будешь делать со своей дочерью. Перед мессой я заехал попить кофе в тот бар, ее там не было.

Я ищу на экране ее, смотрю на таких, как она. Затворников. Они заперты в своих комнатах и в своих головах. М. не выходил из дома три года. На видео они с матерью рассказывают об этом, сидя в синих креслах. «Приезжай к нам, — хотела сказать я подключившемуся к обсуждению эксперту с ухоженными усами. — Приезжай, постой сам под дверью Аманды, может, она тебе откроет. Может, твоему всезнающему лицу она расскажет, что с ней происходит».

Японцы тем временем изучают плазму крови затворников. Они заметили изменение содержания какой-то аминокислоты и билирубина. Так может, Аманда больна? Она совсем худая, бледная. Иногда у нее такие темные круги вокруг глаз, как синяки, даже я заметила, а ведь я ее редко вижу. За столом она включает телевизор, чтобы не слышать тишины, не ощущать тяжести моего взгляда. Съедает несколько вилок, встает, уходит к себе в комнату, хотя только что вышла оттуда. За несколько минут, что ее нет, я успеваю забыть о еде, аппетит пропадает.

Потом она возвращается на свое место, закидывает ногу на свободный стул, сидит так какое-то время, уставившись в тарелку. Разумеется, когда она снова начинает есть, паста чуть теплая. Ей не нравится, она кривит рот,

с трудом домучивает тарелку, а иногда снова встает и уходит — раз, а то и два. Когда я прошу ее подать бутылку воды или приборы из ящика, кажется, будто она делает это из последних сил. А ведь она проснулась всего полчаса назад.

Кажется, весь ее запас сил уходит на пищеварение: после еды она тут же падает на диван. Листает что-то в телефоне большим пальцем без всякого интереса. Со мной общается молчанием или извечными «нет» — по одному в каждой фразе как минимум. Но иногда она внезапно становится уступчивой. Мне удалось воспользоваться таким моментом и убедить ее сходить в поликлинику сдать кровь на анализ, причем я обещала пойти с ней.

Нас принимает знакомая медсестра, она очень обходительна с нами. Медсестра обнимает Аманду за плечи и ведет в кабинет забора крови. Аманда боится игл, поэтому времени потребуется больше, чем обычно.

Я не взяла ничего почитать, пока ее жду. Тем временем медсестра затягивает жгут, пытается нащупать вену. Вены у Аманды подвижные и глубоко лежат, в них сложно попасть. В последний раз вену так долго искали иголкой, что Аманда вся побледнела. Может, у нее анемия, как у меня в ее возрасте. Мама готовила мне печень, покупала в аптеке витаминные настойки.

Из кабинета выходит мужчина с закатанным левым рукавом рубашки и ваткой, прижатой к вене. Мое внимание привлекает его нездоровый цвет лица и что-то знакомое в водянистых глазах. Он тоже мимоходом

останавливает взгляд на мне, пытаюсь сложить листок с назначениями. Листок падает, я поднимаю его, возвращаю владельцу. Его взгляд оживает.

— Привет, Освальдо.

Он сосредоточенно смотрит на меня.

— Я дочь... — Он первым успевает произнести имя моего отца.

— Столько лет прошло, да еще эта маска... Я тебя не узнал. Ты изменилась, — говорит он.

От того мужчины, каким я его помню, тоже мало что осталось. Хотя он по-прежнему высок и держит спину прямо. Спрашиваю, как его дела, получаю расплывчатый ответ:

— Когда встречаешь человека в поликлинике, это обычно недобрый знак.

Он интересуется, что меня сюда привело.

— Дочери надо сдать анализы.

Освальдо выбрасывает ватку в мусорное ведро, расправляет рукав рубашки, застегивает манжету. Мы оба сомневаемся, распрощаться или перекинуться еще парой слов.

— Дораличе давно не приезжала? — спрашиваю я.

Он медленно наклоняет голову набок, затем выпрямляет шею.

— Два с половиной года. Но говорят, полеты вот-вот возобновят, — он показывает на небо за окном.

Дораличе его дочь. Я видела ее несколько раз с тех пор, как она уехала, никого не предупредив. Я знаю, что она приезжает редко, а когда бывает здесь,

## СОДЕРЖАНИЕ

|               |            |
|---------------|------------|
| Аманда        | <b>9</b>   |
| Девочки       | <b>83</b>  |
| Волчий клык   | <b>119</b> |
| Побег         | <b>167</b> |
| Концерт       | <b>217</b> |
| Благодарности | <b>235</b> |